



А. И. ГЕРЦЕН

Новая фаза русской литературы <Фрагмент>

<...> В Москве-то именно и задумали воздвигнуть главный оплот реакционного патриотизма.

Там же нашелся человек, который составил себе quasi-либеральную репутацию, редактируя журнал в эпоху, последовавшую за смертью Николая, то есть в эпоху первого пробуждения русской речи. Катков, проповедовавший с немецким доктринерством превосходство английских учреждений и уважение к законности, помещавший в своем журнале статьи, переделанные из статей «Westminster Review», которые принимали за его собственные, считался умеренным либералом, поклонником английского законодательства и в то же время почтительным учеником Германии и всего немецкого.

От редактирования журнала он перешел к редактированию газеты «Московские ведомости», органа полуофициального, издававшегося под покровительством университета. Там он продолжал играть ту же роль: говорил постоянно с глубоким презрением о русском обществе, учил по книге Гнейста¹ своих читателей восхищению перед Англией и поносил по всякому поводу петербургскую молодежь. Роль водевильного дядюшки в литературе показалась, наконец, кой-кому смешной, и это подало повод к полемике, в которой редактор «Московских ведомостей» показал, на что он способен. На язвительные насмешки он отвечал обвинениями, на шутки — инсинуациями; мало-помалу он дошел до того, что стал громко — и не раз — доказывать

моральное соучастие молодых людей, напечатавших прокламацию, в поджогах. Он был замечен.

С этого момента англomanия «Ведомостей» начинает тускнеть: газета перестает любить законность и уважать права личности и предпринимает ожесточенный крестовый поход против Польши. Она оправдывает одну за другой ужасные меры русских властей, смело объявляет изменниками всех тех, кто не разделяет ее точки зрения, и даже прямо указывает пальцем на равнодушных и подозрительных.

Всякий крик негодования, поднимавшийся против таких небывалых у нас до тех пор приемов, был для редакции лишь вехой на ее пути; непоколебимая наглость ее возражений ясно показывала, что цензуры не существовало для нее и что во всех этих случаях она рассчитывала на верную защиту и прочную опору.

Если сказать о «Московских ведомостях», что они были монархическим и абсолютистским «Père Duchesn'ом»², это даст о них некоторое понятие; впрочем, очень слабое. Во всех заблуждениях революционных листков чувствуются в основе горячее убеждение, пылкая страсть, фанатическая любовь. Гнев московского «Père Duchesn'a» был неизменно холодным, а отказ его от англomanии — слишком слабо мотивированным.

Сначала публика буквально была поражена и не могла прийти в себя от изумления, в которое ее повергло чтение «Московских ведомостей». Никогда, ни в какую злосчастную эпоху не случалось ничего подобного.

Николай в последние годы своего царствования достиг того, что заставил замолчать всю Россию, но он не мог заставить ее говорить так, как ему хотелось. Тогда уничтожали книги и авторов, но не превращали литературу в отделение тайной полиции. Впрочем, Николай и не интересовался этим. Похвалы раздражали его: он считал себя выше одобрения людей. Его мало заботило, довольны или недовольны его приказами, лишь бы приказы эти исполнялись и никто не смел выражать свое неудовольствие. Идеалом порядка было для него пассивное повиновение казармы.

Если опасность для тех, кто говорил, была велика, то по крайней мере можно было безнаказанно молчать; никто не говорил во всеуслышание: *этот человек молчит не потому, что ему*

нечего сказать, но потому, что он таит что-то про себя; или — этот человек печален; не потому ли, что он жалеет поляков?

Лишь в царствование Александра II правящие круги занялись фабрикацией собственной популярности и литературы — бдящей и идолопоклонствующей. С тех пор литераторы выслеживают гораздо тщательнее, чем жандармы, и нравственный уровень понизился благодаря непрекращающейся проповеди истребительной политики и рабской философии повиновения.

Зло, причиненное «Московскими ведомостями», огромно.

Раньше правительство еще соблюдало известную осторожность, общество — тоже. Правительство, в виде опыта, производило жестокие экзекуции, отдельные конфискации. Оно принимало зверские меры, например, преследовало тех, кто пел гимны, сажало в тюрьму женщин, носивших траур. Затем оно приостанавливалось, выслеживая, какое впечатление производит все это на русскую публику. С другой стороны, в обществе назревали дикие поползновения, но сознаться в них люди еще не осмеливались. За отсутствием нравственности подобная стыдливость весьма почтенна.

И вот среди этих-то сомнений, этих колебаний серьезная газета с уже сложившейся репутацией, прикрываясь престижем университета и конституционными убеждениями, самым вызывающим, самым наглым образом, какой только можно себе представить, выступает в защиту гнуснейших мероприятий, совершенно бесполезных экзекуций... Дурные страсти общества тотчас подняли голову, а правительство удвоило *энергию*; оно могло это сделать, получив поддержку не только «Московских ведомостей», но также и других злополучных органов печати, в том числе и «Северной пчелы», которой мешала спокойно спать мучительная зависть и которая старалась превзойти «Московские ведомости» преданностью полиции и ненавистью к Польше.

Противодействие «Ведомостям» было невозможно; приходилось ограничиваться мелкими нападками и карикатурами, не затрагивавшими существа вопроса.

Страшная сила «Московских ведомостей», — сила, которая не только удерживала редакторов, но устрашала и самих цензоров, заключалась в *доносе*.

Журнал «Время», умеренный, но честный и исполненный великодушных симпатий, редактируемый выдающимся писателем Достоевским, мучеником, только что возвратившимся с каторжных работ, напечатал по поводу Польши несколько гуманных слов, которые, весьма вероятно, прошли бы незамеченными, но «Московские ведомости» указали на статью, и журнал был приостановлен³.

«Но ведь это уж не литература, — возражала „Московским ведомостям“ петербургская газета „Голос“, испуганная тем, что ее поставили в один ряд с польскими газетами и „Колоколом“, — вы переносите вопрос в другую область; это уж не спор, а уголовный процесс, возбуждаемый вами» (20 августа 1863).

«Литература, — восклицает Катков, — литературные споры! Да разве мы занимаемся такими пустяками? Мы занимаемся тем, что *проливаем свет на дела, которые нас интересуют*. Правда, у нас не было еще времени заняться вашей литературой; но мы намерены заняться ею и думаем, что не лишнее будет присмотреться немного поближе к тому, что делается в петербургской журналистике» («Московские ведомости», № 222, 1863).

«Да, — говорил он в другой статье, — я добровольно служу правому делу и стараюсь разоблачать врагов, которые мешают видам правительства».

Когда стало известно о назначении ужасного Муравьева и появились первые отчеты о его подвигах, остаток человеческого чувства заставил содрогнуться сердца многих слабых людей. Чтоб ободрить их, «Московские ведомости» тотчас же напечатали следующее: «Россия, конечно, не забудет великих услуг, которые будут оказаны ей в эти трудные времена. Она *прославит* людей, действующих не влияя в атмосфере преступлений и клеветы. Эти люди должны знать, что Россия поддержит их своим сочувствием. Это ее долг. Да, Россия должна собраться, как под щитом, вокруг этих людей, которые не отступают перед страшной необходимостью пустить в ход все строгости закона, чтобы спасти отечество. Если мы лицом к лицу с мятежом, то мы должны подавить его. Мы были бы изменниками и трусами, если бы отказались исполнить свой долг. Никто не упрекает полководца, увенчанного лаврами, в кровожадности. Сановник, принимающий энергичные меры, также не может быть обвинен в жестокости».

И вслед за тем целое сборище литераторов, профессоров, членов нашего жокей-клуба и представителей нашей золотой молодежи... с седыми волосами, устраивает обед Каткову, — обед, на котором *в первый раз* предлагается тост за Муравьева.

Мы не припоминаем, чтоб в самые мрачные дни Французской революции устраивались в Париже банкеты в честь Фулье-Тенвиля или празднества для прославления подвигов Карье и Фуше⁴.

Примеры Москвы тотчас последовали провинция и Петербург. Произошло нечто неслыханное в истории: дворянство, аристократия, купечество, словом, все *цивилизованное* общество империи с шестидесятимиллионным населением, без различия национальности и пола, стало превозносить самые жестокие экзекуции, посылать хвалебные телеграммы, поздравительные адреса, иконы ужасным людям, которые не вышли на честный бой, а занялись умиротворением посредством виселиц, — их встречала не опасность битвы, а безопасность конфискации, осуществляемых вооруженной рукой.

«Московские ведомости» представляли, конечно, лишь наружную язву: испорченная кровь обращалась в жилах почти всего организма. Агитация, предпринятая министром внутренних дел в провинции, обнаружила дикость и глубокую безнравственность общества. В лице Муравьева каждый маленький деревенский тиран любовался самим собой. Но при всем том значительная доля ответственности должна пасть и на университетскую газету.

Ей принадлежит дерзкая инициатива первого слова. Она увлекла слабых, положила конец колебаниям нерешительных. Сколько скверных вожделений, зарождавшихся в тумане неясных возможностей, исчезли бы без следа, если б не встретили поощрения!

Многие честные люди приняли участие в этих странных демонстрациях *сильного против слабого* в глубоком убеждении, что исполняют патриотический долг; и это потому, что они поддались внушению единственной газеты, какую имели обыкновенно читать в своей провинции⁵.

Часть правительства заметила, наконец, что дело зашло уж слишком далеко; но было поздно. Эта умеренная часть правительства была бессильна; все, что мешало течению, было сне-

сено, опрокинуто партией действия, имевшей к своим услугам «Московские ведомости» и виленского генерал-губернатора.

Великий князь Константин не одобрял того, что делалось в Литве. «Ведомости» смело бросают ему в лицо слово «измена», и брат императора принужден покорно отправиться для лечения на горькие воды в Германию.

Киевский генерал-губернатор Анненков, человек далеко не мягкий и не гуманный, не преследовал, однако, повстанцев с таким подчеркнутым и артистическим усердием, как Муравьев, — «Московские ведомости» взяли его под подозрение и с тех пор следили за каждым его шагом. Один из бывших студентов Киевского университета, содержащий в Киеве школу верховой езды, *Ромуальд Ольшанский*, пристал к повстанцам. Он был схвачен, и Анненков предал его военному суду и приговорил к каторжным работам. Таким решением возмущаются предводитель дворянства *Бутович* и некий статский советник *Юзефович*, — ни тот, ни другой не имели никакого отношения к делам правосудия, ни тот, ни другой не несли ни малейшей ответственности, и, однако, они берут это дело в свои руки, протестуют и требуют от генерал-губернатора смертной казни для этого человека. Анненков, опасавшийся уже, благодаря нападкам «Московских ведомостей», что его кредит в Петербурге будет окончательно подорван, отменяет приговор, приказывает пересмотреть дело и приговаривает Ольшанского к расстрелу в Киевской крепости.

Опала, постигая великого князя, окончательно открыла глаза не только Головнину, — который был очень близок с ним, — но и Валуеву и многим другим, не говоря уже о князе Суворове, никогда не принимавшем участия в этих темных делах. Они хотели обуздать патриотическое бешенство, заключить его в рамки, предначертанные их канцеляриями; но, как мы уже сказали, пущенное в ход орудие оказалось слишком тяжеловесным, чтоб они могли справиться с ним, и руководство окончательно выскользнуло из их рук.

Тогда отношения между министерским миром и правительственной печатью явили собой совершенно необычайное зрелище. «Московские ведомости» стойко приняли борьбу и, поддерживаемые невидимой рукой, удвоили нападки. Не имея возможности нападать на министров лично, они стали беспощадно преследовать их газеты: «Северную почту» и «Голос».

Весьма комический случай торжественно ознаменовал апогей влияния «Московских ведомостей». Министр народного просвещения хотел поместить в «Голосе» статью, оправдывающую мероприятия великого князя в Польше. Цензор отказался ее пропустить. Ему дали понять, что статья исходит от министра, то есть от прямого его начальника. На это цензор ответил, что он готов разрешить статью, если министр примет на себя за нее ответственность, «так как, — прибавил цензор, — в статье есть намеки на „Московские ведомости“; они донесут на меня, и я потеряю свое место».

Если такой случай действительно имел место (о нем рассказывалось в «Кельнской газете»), то день этот должен считаться, конечно, самым прекрасным днем жизни «Московских ведомостей». Они торжествовали. Но они не забывали о своем деле и с новым пылом свирепствовали против изменников. Они осмелились намекать на то, что *либеральные* министры выдавали государственные тайны корреспонденту «Times'a». Они осмелились объявить подозрительными, врагами отечества высокопоставленных людей, не пожелавших принять участие в подписке, открытой для поднесения Муравьеву образа архангела Михаила⁶.

После этих громких подвигов газета сделала еще несколько шагов вперед. Но идти еще дальше она уже не могла — голова кружилась. Мазаниелло-Жавер журнализма, она дошла до иступления. Она, простой газетный листок, не могла вынести всей тяжести достигнутого величия и могущества. Она набрасывалась на все, что носило отдаленный признак независимости, с таким же остервенением, с такою же злобою, с какой упрекала правительство в том, что оно пощадило детей 14–15 лет, взятых в плен среди других повстанцев, или что оно даровало слишком большие права крестьянам, предоставив им судиться собственным судом. Она тряслась от негодования при малейшем дуновении свободы — все равно, проносилось ли это дуновение в Австралии или в Аргентинской республике.

Скромный сейм собирается в Финляндии. Там говорят о свободе печати, об уничтожении смертной казни, о местных интересах. «Московские ведомости» рысьими глазами следят за каждым предложением, говорят о сейме с пеною у рта и, когда сейм собирается вытянуть полегоньку из-под лапы медведя

хоть какую-нибудь крупицу свободы, «Ведомости» уже тут как тут, чтоб забить тревогу, подчеркнуть, преувеличить все то, что там хотели смягчить, сгладить.

Украинские писатели желают печатать книги по-украински. Они не питают особых симпатий к России... и не имеют ни малейших оснований их питать. «Это польская интрига, — восклицают „Ведомости“, — они хотят отделиться!» — «Замолчите, — кричат им со всех сторон, — разве вы не знаете, что по нынешнему времени ведете людей прямо в тюрьму!» — «Это меня не касается», — отвечает стоическая газета...

В покорной, скромной, жалкой палате в Берлине раздаются тихие, слабые голоса в защиту свободы... «Московские ведомости», этот международный цербер, тотчас начинают лаять.

Одного предположения, что демократы побуждают копенгагенское правительство к энергическому сопротивлению, достаточно для газеты, чтобы обрушиться со всей силой на датских демократов.

О прочих газетах почти нечего сказать. Одни из них, как «С.-Петербургские ведомости», делают все возможное, чтоб удержаться на уровне порядочности, но это им не удается, так как правительство частью не пропускает статей, а частью, напротив, заставляет их печатать сообщения, изготовляемые его агентами. Другие, как «Северная пчела», стараются подняться *на высоту* «Московских ведомостей», сохраняя притом все повадки рассудительного петербургского либерализма.

Об одной только газете следует еще здесь упомянуть. Из двух партий, которые не примкнули к правительству, одна принуждена была к молчанию и не говорила почти ни слова, другая, не присоединяясь к правительству, заключила с ним союз; мы говорим о московских славянофилах и об их органе «День». Отношение этой газеты к польскому вопросу почти ничем не отличается от отношения «Московских ведомостей»; только «Ведомости», исходя из того, что народы и отдельные личности служат лишь топливом для великой машины, называемой государством, рассуждают логичнее, чем «День», который исходит из диаметрально противоположной точки зрения.

Учение славянофилов основывается на полном отрицании петербургской империи, на *уважении к национальному*, на подчинении воле народа. В глазах славянофилов русская

империя, подобно Польше, страна покоренная, — покоренная шайкой авантюристов, ренегатов, немцев, которые со времен Петра I и с его помощью овладели властью. И вот орган, долженствующий выражать это мнение, при первом крике независимости одного из славянских народов становится на сторону петербургских немцев, но вместе с тем сохраняет свой обычный жаргон «московского фрондера», называя официальную Россию *Rußland*, проводя различие между *публикой* и *народом*, и никогда не смешивая *любовь к отечеству* с *патриотизмом*, который является лишь любовью к государству.

Репутация редактора «Дня» И. Аксакова ограждала его от всякого подозрения; и действительно, его византийская свирель была неподкупна, в то время как правительство и продажная печать разжигали международную злобу.

То, что других побуждала делать страсть к интриге, газета Аксакова делала под влиянием патриотической экзальтации; и простодушный человек, избегнув нечистой паутины полицейских демагогов, попадал в сети фанатизма.

Любовь к отечеству, любовь к государству... как ни мудри над этими схоластическими различиями, одно ясно: это — не любовь к истине, не любовь к справедливости. Патриотизм всегда будет добродетелью, покоящейся на пристрастии; он приводит иногда к самопожертвованию и всегда — к завистливому вождению, к скаредному и эгоистическому консерватизму. Любовь к ближнему недалеко здесь от ненависти к соседу.